

ЖЕЛЕНИЯ

РАССКАЗ



МИХАИЛ ГРЕШНОВ

I

В детстве я любил все яркое и красивое: книги в пестрых обложках, небо, цветы. Любил — не раздумывая: просто и широко, будто тянулся к солнцу, распахнув руки.

Но рассказать мне хочется о другой любви—к человеку. Такая любовь приходит, как откровение, и уже остается с тобой навсегда. Ко мне она пришла в четырнадцать лет.

Жили мы тогда в маленьком степном городке. Железная дорога пересекала его на две части — восточную и западную, — и центром города был вокзал. Западной части повезло больше, ее обвивала река, к реке теснились огороды и городские парки. Впрочем, парками их тогда не называли, просто — садами. Был сад Металлистов, Городской сад и еще один, который назывался Мазмановским, дело происходило в конце нэпа, сад у Мазмана конфисковали, но прежнее название осталось. Остались и сторожа: Чалдыга — гроза городских мальчишек, саженого роста детина, с желтыми, зверьими, всегда пьяными глазами, — и Куприяныч, хроменький дед, матерщинник, но, в общем, сходливый: яблок, если хорошо поканючить, выпросить у него можно... Сад был роскошный, тенистый, но репутацией пользовался неважной: в сумерках здесь подозрительно долго бродили парочки, дрались парни, дико

кровавя друг другу лица... Нам, мальчишкам, конечно, до этого не было дела, нам главное — яблоки, а яблоки в саду были отменно хорошими.

Дом, в котором я жил, битком был набит людьми. Мы с матерью занимали крошечную комнату с одним окном. Но как много по утрам было света в этом окне! Как оно раскрывалось вдруг яркой, прямо-таки ошеломляющей синью!

Квартиранты часто менялись, и приезд новой семьи считался событием к новым долго присматривались, пока те не обживались окончательно, не притирались, как копейки в туго набитом котле.

Рос я один. Ни отца, ни братьев у меня не было, мать всегда на работе. За день я мог обойти город, побывать в садах — проверить, как созревают сливы, — вечером, смотрел на фейерверк и возвращался ночью один по спящим улицам.

Часами я простаивал у киоска, стоило увидеть на обложке разверзнутую пасть тигра или бой с осьминогом — ждал продавца, дядю Милетия. «Стоишь, часовой?» — спрашивал он. «Дядя Милетий, мне — только мне!..» — и, заручившись его улыбкой, мчался раздобывать полтинник.

Журналов и книг накопилось у меня столько, что когда я раскладывал их, — не хватало комнаты.

Но вернемся к нашему дому.

Я зря говорил, что он был переполнен, как старый огурец

семечками, и жильцы часто менялись.

Однажды, когда съехали Боженковы, во дворе появился высокий военный. С первого взгляда он покорила нашу мальчишью братию тугой портупеей и похрустывавшей при каждом движении новенькой кобурой. Мы глядели на него и на кобуру замороженными глазами, тянулись хвостом из комнаты в комнату. Если он хотел видеть, где брали воду, мы бросались к колодцу, толкались, падали, если спрашивал, где уборная, тянули в дальний угол двора.

Дядя Вася,— так он представился нам,— оказался сговорчивым человеком, завязал с нами знакомство, и так как мы бесстыдно млели перед ним, не преминул тут же извлечь из этого пользу: отобрал двоих — меня и долговязого Кольку Зимина — перевозить вещи.

Мы шли по городу, ели черешни прямо из кулька, купленного дядей Васей, ни на минуту не упуская из вида его кобуру, и — представьте! — договорились, что дядя Вася даст нам выстрелить из револьвера «хоть по одному разу».

Так пришли мы в небольшую незаметную улочку, затененную вишняком.

— Сюда, ребята,— сказал дядя Вася, открывая калитку.— Ксения! — крикнул кому-то в окно.— Помощники!

И тут мы увидели Ксению. Ксению Львовну.

Она вышла к нам, подала руку.

— Здравствуйте!

Мы медлили. Колька даже отступил, вытирая ладони о рубаху, я тоже смешался, мне еще никто не подавал руки... А потом — Ксения была очень красива и нам надо было разглядеть ее. И мы глядели: Колька все тер ладони, я не осмеливался пожать руку,— все трое молчали. В ее глазах, в глубине рождалось что-то светлое, переходило на щеки, в уголки губ — улыбка.

— Ладно,— сказала она просто,— поздороваемся в другой раз.

Они поселились в нашем доме, дядя Вася и Ксения Гласовы, — заняли две большие комнаты.

Дядя Вася исполнил обещание: за городом, в яру, мы с Колькой выпалили из нагана, и даже не по одному разу, а по два.

—Хватит, ребята. Я же отчитываюсь за каждый патрон!

Колька еще клянчил, я согласился сразу. Меня не привлекала стрельба. Тянуло домой. Там была Ксения Львовна, с ее удивительными глазами,— вся удивительная, непривычная.

То, как мы въезжали в дом, расстанавливали вещи, как я держал ее ребенка,— у Гласовых был мальчик, месяцев одиннадцати,— промелькнуло, как и не было. Запомнились только глаза Ксении, Они улыбнулись опять, когда сказала Кольке и мне спасибо...

В тот день, заметив, что она уложила сына и села отдохнуть, я притащил стопку книг и поверг перед нею. Она засмеялась:

— Твои?— стала перебирать тонкой рукой.— И ты все их прочел?..— подняла брови, отчего на лбу обозначилась прямая, как паутина, морщинка.— И эту?..— указала на «Маленькую хозяйку» Джека Лондона.

— О!..— сказал я, занятый тем, что разглядывал ее ресницы, длинные, загнутые кверху, вызывавшие почему-то у меня представление об индейских стрелах.

— Почему ты говоришь «о»? — спросила она.— Не умеешь выражать мысли простыми словами?

Нет, я умел выражать мысли и постарался доказать ей это, перечислив без передышки десятка два своих любимых книг.

Она снова улыбнулась, а я смотрел на нее и делал открытия, одно удивительнее другого.

И теперь каждый раз приходил на крыльцо и садился возле нее.

— Как дела?— косилась она на меня, откусывая нитку,— шила что-нибудь для мальчишки.

— Неважные,— говорил я,

недовольный тем, что мать третий день запретила выходить со двора: запуская увеселительную ракету, мы нацелили ее не вверх, а по горизонтали, она тут же врезалась в куст и обдала нас горячим порохом; теперь все ребята во дворе ходили конопатые...

Дружба наша крепла. Ксения не приноравливалась ко мне, говорила, как со взрослым. С ней было хорошо. Правда, хорошо было и с ребятами, где-нибудь за городом, на реке, или — с героями книг: скакать по степи, ловить с Красными Дьяволятами Махно... Но здесь хорошее было в другом: в созерцании, что ли, в восприятии красоты, женственности, которой не замечал или не чувствовал раньше. Ксения не была похожа на женщин нашего дома. Не только внешностью, обаянием — отличий я видел все больше. Она училась в университете, на филологическом отделении. Об университетах я знал из книг, но вот что она на каникулах — это здорово. Каникулы у нас, пацанов,— понятно. Но чтобы у взрослых — этого не встретишь на нашей улице! Она знала все на свете: правила по грамматике, названия облаков, писателей по именам, книги... Тут и я, между прочим, мог не ударить лицом в грязь и по этой части слыл во дворе авторитетом. Даже Колька Зимин, которого ничем не пробьешь, и тот сидел с открытым ртом, когда я рассказывал о прочитанном...

Но с Ксенией все было по-другому. Стоило ей раскрыть книгу,— я сам уподоблялся Кольке...

«Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чикильдеев заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так, что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком...» Что тут такого? Но в словах «Николай Чикильдеев» я вдруг отчетливо слышу, как звякнули тарелки, когда человек споткнулся, и дальше — как шаркнула на пол ветчина, когда упал с подносом... «Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу;

молча свалили узлы и вышли на улицу молча». И от этих двух так необычно поставленных «молча» на меня веет таким отчаянием, что в груди сжимается сердце. Ксения говорит:

— Это «Мужики» Чехова... Видишь, два слова, а в них — и звон разбитой посуды, и вся трагедия души...

Потом читает «Ионыча», я хохочу над Старцевым, как он ходил к Туркиным, ждал свидания на ночном кладбище, и расстраиваюсь под конец, когда Ксения закрывает книгу: мне жалко Ионыча, жалко Екатерину Ивановну и чего-то еще, что все время стояло между ними, но они не рассмотрели его, и оно ушло, сделав обе жизни ничемными...

Вечером, засыпая, твержу запомнившуюся фразу: «Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собой».

И слышу, как кричат журавли, чувствую чью-то душу, которая рвется вслед за ними ж не может порвать опутавшую ее тоску...

Через Чехова и Тургенева Ксения раскрывала мне красоту русского слова, раскрывалась сама. Даль приключений тускнела, блекла, все чаще я видел перед собой женщину — добрую, прекрасную, иногда усталую, замечал, как проступали «гусиные лапки» на ее висках, утомленно опускались уголки тонко очерченных губ. Видел, как вдруг рождалась и густела в глазах печаль, когда просила мужа:

— Останься хоть один вечер...

Он уходил, печаль в ее глазах густела еще больше.

— Вася...

А я радовался, что он уходит; с мальчишеским эгоизмом не понимал ее грусти, не замечал, как тот лее дядя Вася, пыхнув дымом, цедил сквозь зубы:

— Чернокнижница...

Я знал, что учился он мало, кончил три или четыре класса и даже хвастал этим:

— Проживем! Не хуже других.

III

Я ждал очередного «Вокруг света». Печатался «Гул пустыни» — шел из номера в номер, и тем горячее было

нетерпение. Но журнал запаздывал, дядя Милетий в недоумении разводил руками:

— Ничего не попишешь...

В этот вечер с Василием увязался в город и я. Солнце клонилося, было как-то

по-особенному мирно и хорошо: пахло яблоками, арбузным соком, подопревшими сливами — всеми запахами, которыми так богат сытный и щедрый август.

Мы поднялись на мост, перешли железную дорогу. Гривенник я держал в руке: в этом звонком кружочке было предвкушение яркого, необычного, что вот сейчас придет и раскроется в новом журнале...

— Что за охота?— подсмеивался Василий.— Читаешь, горбишься. Профессором хочешь стать?.. Купи вон мороженое и сожри.

Я возмущался плотским советом, но, чтобы не нагрубить, молчал.

— Хочешь — закажем,— продолжал Василий.

Мороженого, действительно, хотелось, но «Гул пустыни» был сильнее, и купил я журнал.

— Дай ты мне его посмотреть на сегодняшний вечер!— неожиданно попросил Василий.— А считаешь завтра. Лады?

Пришлось уступить, тем более, что с другой стороны улицы энергично сигналили дружки — затевался налет на мазмановский сад.

Налет проводился с полным знанием дела. Выждали, когда сторожа сели ужинать, Савку с Володькой отрядили «канючить» — выпрашивать яблоки, отвлекать. Главные силы двинули в обход, атаковать лучшую часть сада; не забыли и сигнального поставить.

Все пошло как по-писаному: Савка с Володькой канючили, Витька Ладочкин семафорил, остальные набивали пазухи яблоками. Вдруг Витька по-разбойничьи засвистел — полундра! Я спрыгнул с ветки и обмер: прямо на меня с дубиной в руке мчался Чалдыга. На лице его была такая свирепость и такое желание обломать палку на чьей-либо

спине, что екнуло сердце: «Пропал!» Однако мое появление у него под носом и для него было неожиданностью. Один миг мы стояли, глядя друг на друга в упор. У меня реакция сказалась острее: я подскочил, как заяц, и кинулся наутек. Еще миг — палка с треском переломилась о ствол яблони. «Мимо!» — возликовал я, петляя меж деревьями, готовый распластаться в воздухе,— улететь, дал бы бог крылья. Чалдыга был сильнее, выносливей, я уже слышал за спиной: «Мерзавец, голову оторву!» — как вдруг на пути встала изгородь — терновник, который тянулся дальше, к самой реке.

— У-ух! — завопил я и ринулся в терновник, оставляя на колючках кепку и ключья трусов.

Сопение разом смолкло. Я же, пробив изгородь, мчался дальше, путаясь в кустах и чувствуя, как из разорванной рубахи, стуча по коленям, сыплются яблоки...

Исцарапанный в кровь, с опустевшей пазухой, выскочил я на неизвестную крошечную лужайку, в двух шагах от реки.

Сперва я не понял, в чем дело: на чем-то белом, как на газетах, сидели мужчина и женщина. Мужчина привлек ее к себе, впился губами в ее губы, она закинула руку ему на шею.

Привлеченные шумом, они обернулись, и я узнал Василия. Сначала его взгляд был тусклым, пустым, как у пьяного, потом принял удивленное выражение и вдруг стал, как у Чалдыги.

Я не мог выдержать ни этого взгляда, ни вскрика женщины, задернувшей кофточку на груди, повернулся и полез назад — в терновник.

Домой я вернулся в полночь. Не отвечая на расспросы матери, забился под одеяло. Все во мне словно оцепенело. Мать, чуя неладное, долго сидела у меня в ногах. Потом легла. Я заплакал, когда она заснула, и плакал до самой зари.

Весь следующий день я не выходил из комнаты, сидел в сумерках: мать, уходя, закрыла окно, я не вышел, чтобы открыть его... Мне было

невыносимо стыдно, будто сделал что-то гадкое, сделал при всех и теперь целый город полон ко мне презрения и враждебности. Перед глазами попеременно вставали то глаза сторожа, то плоский, залитый мутью взгляд Василия...

Он пришел сам после обеда. С минуту приглядывался в темноте комнаты, потом увидел меня, сказал: «Молчи!» и положил журнал на кровать. Я отодвинулся.

Он постоял еще немного и ушел. Я увидел, что журнал расшит на листы, измят и изорван.

Я еще долго сидел на кровати, глядел на журнал со страхом и отвращением.

Вспомнив, что сейчас должна прийти мать, взял его и затолкал в печку.

Но это еще не конец истории. Кончилось так.

Несколько дней я ходил, как волчонок, прятался от людей, старался не видаться с Ксенией.

Потом сам почувствовал свое одиночество. Вышел под вечер — время, когда меньше всего мог встретиться с Василием, — незаметно для себя оказался у них на крыльце. Нет, Василий был дома. В комнате разговаривали:

— Не ходи, — говорила Ксения, — Не ходи! Прошу...

Минута молчания. И опять:

— Вася!..

— Отойди! Брось рукав!..

Что-то двинулось, упало, видимо, со стола.

— Брось!

Дальше я помню смутно. В глазах побелело, я очутился у двери, рванул на себя, прыгнул в комнату. Пошатнувшаяся Ксения, поднятая над ней рука — все было в тумане. Я кинулся на Василия, вцепился в портупею, бил по груди, по плечам, стараясь достать до лица. Он отодвигал меня своими большими руками, сначала в недоумении, потом лицо его перекопилось в злобе; я, наконец, достал до его головы, вцепился в ухо, в щеку. Он выволок меня на крыльцо, я пинал его, бил ногами, — помню оба молчали, — впился зубами в

его руку; он тряс меня, как щенка. Потом он швырнул меня со ступеней...

Очнулся я в белизне палаты, — белые стены, простыни. Это сразу напомнило белый туман, охвативший меня, когда я ворвался в комнату Гласовых. Кулаки сжались вновь и — тотчас разжались: передо мной сияли глаза Ксении.

Они были такие же глубокие, даже сиг волнения более глубокие, чем обычно.

— Это ты из-за меня? Из-за меня?.. — спрашивала она,

Я не отвечал. Я только смотрел ей в глаза. В них не было, как прежде, океана и чужедальних берегов — они были просто теплыми, женскими. И мне вдруг до боли захотелось, чтобы они остались со мной.

Я не знал, что вижу их в последний раз.

Гласовы уехали из города: Ксения, как говорили в доме, на Орловщину, к родным Василий — на юг, кажется, в Одессу.